

*К.Г. Исупов*

**СУЛТАНОВ К.В. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ  
Н.Я. ДАНИЛЕВСКОГО: КОНФЛИКТ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ /  
Ред. проф. И.А. ГОЛОСЕНКО. СПБ.: ИЗД-ВО СПбГУ, 2001. — 247 С.**

Возможность выхода монографии, посвященной наследию Н.Я. Данилевского (1822–1885), созревала исторически. На фоне потока исследований по истории русского опыта самоидентификации труды классиков нашей исторической философии обрели новую актуальность. В этом смысле книга петербургского философа профессора К.В. Султанова отвечает ожиданиям читателя, заинтересованного в проблемах отечественной философии истории и социологии. Автор терпеливо ждал момента, когда труды российских консерваторов обретут легитимность в глазах советской/постсоветской исторической науки.

Писать о судьбе и творчестве Данилевского — занятие, сопряженное с массой сложностей. Этот человек полагал исторические штудии далеко не главным делом своей жизни. А с другой стороны, кто сейчас вспомнит о такой заслуге Данилевского, как организация службы рыбнадзора (Султанов 2001: 23), и — кто не держал в руках его фундаментальный труд «Россия и Европа» (1865–1868)? Особенно непростым оказался вопрос об источниках концепции культурно-исторических типов, коль скоро источники эти должны быть разнесены по множеству квалификационных рубрик: от конкретных трудов естественнонаучного порядка до мировоззренческих тенденций века, современником и инициатором которых был и сам герой монографии. Надо сказать, эта работа проделана весьма тщательно как относительно коллег-естественников (Султанов 2001: 20–21), так и в плане историко-философском. В книге широко обсуждаются фабулы: «К. Леонтьев — В. Розанов — Н. Данилевский», «Н. Данилевский — О. Шпенглер — А. Тойнби — П. Сорокин», «Н. Данилевский — В. Соловьев» и др. Наследие автора «России и Европы» помещено в пространство сложно пересекающихся тенденций, в содержании которых петербургский исследователь проявляет завидную осведомленность и в контексте которых проясняется собственная специфика культурно-исторической теории Данилевского.

Вопросы, которые естественно возникают у читателя по ходу путеше-

ствия по лабиринтам русской культуросоциологии, столь же серьезны, сколь и объемны. Но сама возможность их задать говорит об активной диалогической позиции исследователя.

Так, наш автор квалифицирует книгу «Россия и Европа» как «первый русский философско-исторический трактат, написанный вне очевидных влияний со стороны европейской философии» (Султанов 2001: 24). Здесь впору упрекнуть автора в том самом «данилевском» культурном изоляционизме, за который вот уже более столетия принято ругать русского мыслителя. О каком «вне-влиянии» может идти речь, если за плечами у Данилевского стоят, помимо прочего, вековая просветительская школа европейского географического детерминизма, в которой охотно числили себя как писатели (А. Кантемир, Н. Гоголь), так и историки (М. Погодин, кое-кто из славянофилов), равно как и романтические опыты сравнительной историологии («палингенез» Ж.-П. Балланша), мастером которых был А. Герцен? Можно ли с уверенностью говорить, что для Данилевского не были значимы историософские интуиции П. Чаадаева, В. Печерина, А. Пушкина, Ф. Тютчева? Не из этих ли имен сплетается тот исторический фон, на котором должно оценить полемику В. Соловьева с Данилевским (и которой в монографии посвящено немало содержательных страниц)?

Сложность, отчетливо осознанная в монографии, — в том, что Данилевский в той же мере не чужд самым разнородным тенденциям своего века, в какой готов от них отказаться. Верно сказано: «Суть методологического противоречия, которое обнаруживает труд Данилевского, — бунт против позитивистского натурализма средствами того же натурализма» (Султанов 2001: 44; ср. 54–55). С другой стороны, «убедительного замещения гегелевской схемы “естественной” концепцией движения мировой культуры совершить Данилевскому не удалось <...>» (Султанов 2001: 70); последний момент был отмечен еще П.Н. Милюковым (Султанов 2001: 63, 71). Да, термин «направленность истории» у Данилевского трактуется как действие имманентной идеальной силы, под влиянием которой внутренние структурные принципы последовательно развертываются в многообразии типов культурно-исторических организмов. В известной мере «направленность» Н.Я. Данилевского напоминает понятие «духа» и Гегеля, «души» у Шпенглера, «стиля» у Сорокина» (Султанов 2001: 74), — и... все это ровным счетом ничего не значит хотя бы потому, например, что психические различия между народами (на чем стоит понятие национального) «имеют количественный, а не качественный характер» (Султанов 2001: 63).

Амбивалентное отношение Данилевского к историографическим тенденциям своей эпохи определило странную репутацию его книги в глазах современников. На фоне азартного поиска во второй половине XIX в. «законов истории» Данилевский редуцирует понятие закона до принципа национальной экзотики («особости»); в хоре поклонников дарвинизма он обличает теорию отбора в органическом релятивизме и в унижении идеи Промысла; но тут же из весьма не чуждой ему гегелевской диалектики исторического процесса элиминируется стержневая телеологическая и философско-религиозная составляющая; концепцию «русского пути» (энтузиастом, но никак

не «основоположником» которой (Султанов 2001: 15) был Данилевский) наш философ измельчает в странную мысль о «национальной науке» (Султанов 2001: 51); «морфологическому принципу» в истории, не зависящему от внешних факторов (Султанов 2001: 27), придает, напротив, провиденциальную трактовку, что позволило ему видеть будущее России в свете романтического прекраснотворения; наконец, редкостная социальная слепота Данилевского дала современникам повод для обвинений то в ретроградстве, то в политической провокации...

Справедливо поэтому поступает К.В. Султанов, от главы к главе расширяя историко-полюемический фон исследования и показывая, на каком сложном перекрестке мнений столетие с лишним читался труд Данилевского. Самостоятельный интерес представляет подробный разговор о современниках и последователях русского философа. Предъявленные здесь материалы побуждают уже не столько спорить с петербургской книгой, сколько дополнять и расширять ее проблемное пространство.

Так, на актуальную почву ставятся имена Н. Страхова и В. Розанова, с одной стороны (Султанов 2001: 131), и К. Леонтьева и Н. Данилевского — с другой (Султанов 2001: 139).

Эта почва — русская эстетика истории: «Н.Я. Данилевский говорил: “Красота есть единственная духовная сторона материи, только при ее наличии материя и имеет цену, значение и причину собственного существования. Бог пожелал создать красоту и для этого создал материю”. Материя и красота, физика и эстетика, подхватывает К.Н. Леонтьев, имеют дело с универсальными законами, пронизывающими все, что существует во Вселенной. Все в мире подчинено законам физического развития, и в то же время ко всему есть эстетическая оценка, определяющая красоту формы. Таким образом, “естественная система” основана на универсальном онтоэстетическом законе» (Султанов 2001: 139).

Наши авторы, пишущие о прошлом, осмыслили его в эстетических категориях, — и это определяло и стиль отечественной историографии и историософии, и их философско-религиозный посыл: эстетическое оправдание истории. От Карамзина, Чаадаева, Герцена, В. Одоевского и далее — весь Серебряный век дает о себе знать апология «онтоэстетического закона». Так, для Герцена развитие истории идет по законам художественного творчества, в результате чего и сама история есть эстетический артефакт: «Горе бедному и тощому художественным смыслом перевороту», — говорит он (Герцен 1957: 105). Из публикаций священника И. Фуделя нам известны такие высказывания К. Леонтьева: «Эстетика жизни гораздо важнее отраженной эстетики искусства» (Леонтьев 1912: 36). Эстетическую аргументацию Леонтьев перенес на историю. В. Розанов, перенявший у Леонтьева его организмическую триаду исторического процесса, мог уже напрямую связывать историческое и эстетическое познание в единый гнозис (Розанов 1892: 156–188). О творчестве истории как «человеческом искусстве» говорил и сам Данилевский (Данилевский 1895: 398).

Много раз перемноженные в книге К.В. Султанова имена Данилевского,

Шпенглера, Сорокина и Тойнби заставляют заново задуматься над растущей популярностью циклической идеи. Мы выделим здесь несколько аспектов.

**1. Онтология.** Как только, с расцветом христианской эсхатологии, круговое время мифа развернулось в стрелу времени и пришло понимание необратимости слова и поступка, древнейший историзм с его эпохами как замкнутыми единствами (Гесиод) сублимировался в тот род воображения истории, которое точнее следовало бы определить не как «циклическость» только, но как ритмику. Популярность картины триадичного процесса Иоахима Флорского, как и в позднейшее время Дж. Вико и других мыслителей Ренессанса, объяснима хотя бы тем, что они опирались на логику наличия в мире космических доминант бытия: повторяемости и предсказуемости. Онтологический парадокс применения понятия цикла к явлениям истории и культуры состоял в том, что уместная для науки небесной механики или потребностей климатологии циклическость, внесенная в мир человеческий, судьбоносна и печальна в своей принудительной неотменяемости.

**2. Антропологизация принципа.** Очень рано в идею циклической жизни народов был внесен биологический акцент, в частности — возрастной параметр. Так, историк Древнего мира Эдуард Мейер, которого упоминает в «Смысле истории» Н. Бердяев, толковал о кульминации, умирании и спасении культур; триада К. Леонтьева (Мейер 1905), подвергнутая критике за биологический натурализм, также подана в векторе старения=упрощения. Данилевский усложнил схожую картину моментами случайности и прочими социальными мотивами «поведения» Судьбы — месть, инициация, Божье пощущение, наказание, богоизбранность. Данилевского особо интересовал характер судьбы народов, определяющий историческую физиономию национальной культуры и геометрию его пути. Говорилось, в частности, о насильственной гибели двух американских народов, о стагнациях культуры «от отчаяния» или «от самодовольства». «Судьба» при этом легко насыщалась контекстами новой историософии в связи с интригующей технологией предсказательства и пророчества.

Главный вопрос, который остается после чтения книги К.В. Султанова, — «какую методологическую ценность имеют для нас теперь концепции культурно-исторических типов?» Наша историческая память привыкла структурировать событийный ряд, выделять множества разной мощности, чтобы подвергнуть их посильному объяснению. Эти событийные группы мощности как бы «сами собой» образуют циклические звенья, группируясь, в свою очередь, в мощности более высокого порядка — двух- и трехмерные композиционные цепочки, в объемные фигуры. Технологий описания такого рода структур сколько угодно — от логико-математических (Г. Кантор) до богословских (Л. Карсавин).

По смыслу **так** осознанной истории она парадоксально совмещает в себе и стрелу времени (необратимость событий, эволюцию, непредсказуемость), и палингенез (возврат с наращением нового опыта). Это и есть циклическая модель истории, весьма «удобная» в полемике с теми, кто полагает, опираясь на свои аргументы, что в истории нет ни склада, ни смысла, ни телеологии, а ней царит случай и дурная множественность событийной мелочи.

К последним относится, например, Лев Толстой, который в завершающем «Войну и мир» трактате предложил теоретическую модель абсурда истории, перечеркнув (опять же, только теоретически) всю художественно обоснованную логику истории, каковая предстает в повествовательном массиве текста. Циклическая концепция примиряет эти две непримиримые точки зрения: эстетику истории и алогизм истории. Можно, конечно, и в алогизме отыскать свою «эстетику истории», но от опытов такого рода никому легче не стало.

Для нравственного чувства современного человека, который хотел бы остаться внутри мирового смысла, это не так уж и мало. Для методологии истории как науки все циклические концепции, вместе взятые, навсегда останутся гипотезой в ряду гипотез, потому что они не проверяемы экспериментально и остаются в ранге чуть ли не вероисповедных представлений. Вероятно, поэтому, циклические модели возникли так рано и с такой органической легкостью, они непрерывно воспроизводились во множестве вариантов, но — заметим: с не меньшей легкостью их авторы отказывались от них (А. Тойнби). Причина отказа простая: циклическая модель как рабочая гипотеза быстро исчерпывает свои возможности. Из нее «много не выжмешь», принцип цикличности моментально обретает черты исторической «судьбы», — и вся работа историка с печальной неизбежностью оказывается воспроизведением мифологии истории, а не научного ее описания. Впрочем, это всего лишь мнение читателя, которое мы никому не навязываем.

Теперь несколько читательских претензий к автору монографии:

1. Вполне справедливо отмечено, что издательская корректность требует воспроизведения канонического — пятого издания книги Данилевского (1895 г.). Однако к выходу в свет монографии К.В. Султанова переиздание было осуществлено покойным ныне А.А. Галактионовым (Данилевский 1995), о чем Султанову как исследователю творчества Данилевского, вероятно, прекрасно известно.

2. Представляется не вполне корректным спор с «биографическим методом». Напротив, именно в наши годы мы получаем яркие свидетельства особых достоинств этого метода; достаточно вспомнить биографическую вступительную статью К.А. Свасьяна к первому тому современного издания «Заката Европы» (Свасьян 1993) или серию «Биографические ландшафты», выпускаемую издательством «Урал-LTD», в частности, книги О. Базиля о Г. Тракле (Базиль 2000) и Г. Вера о Я. Бёме (Вер 1998).

3. Открытым остается весьма спорный вопрос о прямом влиянии Данилевского на построения О. Шпенглера. Немецкий автор не знал русского языка в той степени, которая потребна для восприятия тяжеловатой прозы нашего мыслителя, а свидетельства П. Сорокина на этот счет нуждаются в дополнительной проверке по иным источникам.

В заключение подчеркнем, что книга К.В. Султанова заново актуализует наследие Н. Данилевского при полном свете исторического дня. Перед нами — не просто научная монография, это еще и неплохой учебник по истории русско-европейской социологии, за который студенты и аспиранты не раз скажут спасибо. Пожелаем автору дальнейших удач на этом поприще.

### **Литература**

Базиль О. Георг Тракль сам свидетельствующий о себе и своей жизни (с приложением фотодокументов и иллюстраций). Екатеринбург: Урал LTD, 2000. (Биографические ландшафты)

Вер Г. Якоб Бёме сам свидетельствующий о себе и своей жизни (с приложением фотодокументов и иллюстраций) / Пер. с нем. К. Мамаева. Екатеринбург: Урал LTD, 1998. (Биографические ландшафты)

Герцен А.И. Собр. соч.: в 30 т. Т. XX/2. М., 1957.

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб., 1895. Изд. 5-е.

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995.

Леонтьев К. О Владимире Соловьеве и эстетике жизни. М., 1912.

Мейер Э. К. Леонтьев — философ реакционной романтики. М., 1905.

Розанов В. Эстетическое понимание истории // Русский вестник. 1892. Т. 218.

Свасьян К.А. Освальд Шпенглер и его реквием по Западу // Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М.: «Мысль», 1993.

Султанов К.В. Социальная философия Н.Я. Данилевского: Конфликт интерпретаций / Пред. проф. И.А. Голосенко. СПб.: Изд. СПбГУ, 2001.